

# НИКОЛАЙ ВОРОНОВ

ПЛАВАНИЕ У  
ВОСТОЧНЫХ БЕРЕГОВ  
ЧЕРНОГО МОРЯ

**Николай Ильич Воронов**  
**Плавание у восточных**  
**берегов Черного моря**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24411400](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24411400)*

**Аннотация**

Из путевых заметок о Южной России.

# Николай Воронов

## Плавание у восточных берегов Черного моря

Душный ветер разносил по улицам Керчи песок и пыль, так что глаз нельзя было открыть, не ощущая в них боли; раскаленные на июльском солнце стены и крыши домов еще более усиливали дневной жар, так что приходилось поминутно обливаться потом, даже морские купания не освежали, — и я решился нанять баркас, чтобы переселиться на пароход «В.К. Константин», который стоял милях в семи от берега и едва обрисовывался на мглистом горизонте своими тремя мачтами и двумя трубами. Пролив волновался. Легкий баркас, под парусом, шибко понесся по неровной зыби, обдавая меня брызгами валов, и через час был уже у парохода; но подтянуться к трапу не было никакой возможности. Едва сворачивали парус, как сильным течением пролива баркас относило в сторону от парохода, не позволяло держаться на веслах, и только спасительный канат, наконец сброшенный к нам с палубы «Константина», удержал нас от невольной прогулки в открытое море.

«В.К. Константин» должен был вечером следующего дня идти к восточным берегам Черного моря. Это один из больших и лучших пароходов общества. Изящность и роскошь в

отделке его кают, покойный и быстрый ход, простор помещения, любезность служащих на нем лиц – все это было знакомо мне еще прежде, за переезд мой от Севастополя в Керчь; теперь же, после опасной пляски баркаса по сердитым волнам пролива, еще больше я рад был подняться на покойную его палубу, освежиться на нем от керченской духоты и пыли и, под обаяньем морского сна и аппетита, ожидать плавания к «брегам абхазским»...

И наши города, подобно азиатским, нередко красивее и привлекательнее, когда смотришь на них издали, чем когда очутишься посреди всякого рода их неудобств и неряшества. Постоянно жить в них – по силе привычки еще живется довольно сносно; но заезжому промаяться в них несколько дней – подчас невыносимо. Вот хотя бы и Керчь. За семь миль, с рейда, глядит она игрушечкой, с такими чистенькими домиками, так картинно расположенными около живописного Митридата, что как не съехать к ним с парохода? А съедешь – не знаешь куда и бежать из душных и пыльных объятий этой игрушечки, особенно же из грязнейших и беспокойнейших ее гостиниц. На рейде лучше. Тут, по крайней мере, хоть свежий воздух да чистая морская волна<sup>1</sup>...

День и другой на пароходе прошли для меня в выслушивании все одной и той же песни. Песня эта – нагрузка парохода. Визжит цепь, то опускаясь с тяжестью в трюм, то легко дребезжа оттуда за новой тяжестью; слышится монотонное

---

<sup>1</sup> О Керчи более подробно говорится в другой главе этих заметок.

«вира» и «стон» матросов, причем иногда раздаётся крепкое словцо боцмана; грузят мешки с мукою, бочки с сахаром, бочонки с маслом, ящики с макаронами, тюки с овчинами и кожами; то лопнет обруч, то разорвется мешок и рассыплется по палубе пшено или мука, причем окажется правым непременно железный крюк, прорвавший мешок, и виноватым будто бы гнилой мешок, не устоявший против крюка... Матросы, грузящие корму, большею частью обсыпаны мукою и вполне белые люди; зато на носовой части парохода, где грузят каменный уголь, расхаживают вполне черные. Но цвет кожи и платья не мешает матросу оставаться верным одной и той же своей натуре: те же веселые прибаутки там и здесь, те же крепкие словца по поводу самых невинных предметов, то же уменье, по-видимому работая, ничего не делать и вдруг, под влиянием угрозы боцмана, усилить свою работу до такой ревности, что и крепкий обруч на бочке непременно лопнет и крепкий мешок с углем непременно порвется. И там, и здесь непременно найдется один из всех деловой, который все улаживает, за всех управится, хотя бы эти все только об одном и думали: как бы половче, попроворнее, чтоб старший не заметил, понагнуться да лизнуть с палубы сахарного песка, который посыпался из полуразбитой бочки...

День и другой на пароходе прошли для меня в рассмотрении одних и тех же видов. С верхней палубы открывался весь Керченский пролив. С западной его стороны – полу-

круглая Керченская бухта, в углублении которой амфитеатром, не высясь ни одним зданием, разместился город у подпоры массивного Митридата; на севере – обрывистый берег с маяком и развалинами Еникале; на юге – высокие холмы с Павловскою батареей. Все это, за исключением былых построек города и его окрестностей, имеет бурый, лишенный зелени цвет. Восточный берег пролива, заключающий в себе Таманскую бухту, посередине скрыт за горизонтом и только по краям выступает едва приметными из-за воды косами – Чушкою против Еникале и Тузлою против Павловской батареи. Весь пролив заставлен разной величины и разного вида судами, и лес их мачт все гуще, чем ближе к Керчи. Там, у самой пристани, стоят пароходы и баржи общества; тут видны легкие, красивые, каботажные английские суда, здесь черные военные русские шхуны, тут же русский неуклюжий каботаж, несколько похожий на турецкий, а турецкие суда своей конструкцией решительно напоминают ноздревскую «бочковатость ребр, уму непостижимую...». В обоих концах пролива часто видишь торжественное шествие на всех парусах какого-нибудь большого купеческого судна; белеет оно и блестит на солнце, пока не скроется за горизонтом, или же, опустив паруса, бросит оно якорь – и вот к нему и от него полетят крошки-баркасы. Среди этого множества разнообразных, спокойно стоящих судов не перестают сновать во всех направлениях тромбаки, шлюпки, ялики, на веслах или под парусом; словом, это самый оживленный пункт Азовского

моря...

Но вот нарушилась спокойная стоянка «В.К. Константина»: буксирный пароход «Крикун» свез на него всех пассажиров, отправлявшихся на восточный берег Черного моря. Затопились и зашумели громадные паровые печи, на палубе образовалась толкотня, а к тому же и погода обещала разгуляться и расшуметься.

Между тем палуба «В.К. Константина» успела уже принять азиатскую физиономию. Суетились армяне, выбирая себе повыгоднее место для ночлега; покуривая кальян, в молчаливом созерцании чего-то глубокомысленного, сидели турки; картинно разместилось семейство черкесов, состоявшее из трех женщин и ребенка под охраной рыжего мужчины, с паршами на голове; важно расхаживали два имеретина в синих чухах, в красных бархатных бешметах и в сапогах, загнутых вверх в виде крючков тонкими носками. Говор азиатских наречий, непрерывный спор за места на ночлег, разглагольствования монаха с Афонской горы – все это, вместе с шумом паров топившегося парохода, могло бы заставить трещать мою голову, если бы она не привыкла к азиатской общественной суматохе, которая заводится всюду, где только соберется десяток-другой армян, этих горластых торгашей Востока. Монах с Афонской горы, в шерстяном черном подряснике с кожаным поясом, в замасленной приплюснутой шапочке, особенно не поладил с своими соседями-армянами, успевшими уже завязать игру в карты.

– Ты меня не переспоришь, – замечает он, покачивая головой, – не переспоришь меня, потому что на мне чин такой... постригом освящен...

– Ну и сиди себе, не мешайся! – отвечает армянин, погруженный в созерцание своих карт, а между тем изливающий из себя целый поток непонятной для меня армянской речи.

– Нельзя мне не мешаться, – продолжает монах, – ты дурак ведь, почтение ко мне не имеешь.

Армянин снова изливает армянские речи.

– Ты меня не переспоришь, – опять методически замечает монах, покачивая головой, – не переспоришь меня, говорю тебе, потому что я имею чин такой... постригом освящен...

И все в этом же роде продолжается между ними нескончаемая беседа.

– А черкешенку видели? – спрашивает меня один из пассажиров. – Это прелюбопытно!

Молоденькая девушка, с лицом ребенка, лежала на палубе, укутанная белым кисейным покрывалом поверх какой-то короны или же парчового шишака, надетого на черные, не расчесанные ее косы; на теле только сорочка да красные чевяки или туфли; то выгянет она пугливо из-под покрывала, то спрячет голову в подушку и скорчится, как собачка, готовящая заснуть. Подле нее, на корточках, сидит черкес и точно сторожит ее от посторонних взглядов.

– Опять это вонючее племя с нами! – желчно замечает один из служащих на пароходе, проходя мимо черкесов;



а к этому племени принадлежат еще две пожилые женщины, можно бы сказать – дряхлые старухи, если б одна из них, также в парчовом шишаке, не кормила ребенка своею полною свежю грудью; на старухах также, кроме сорочек, покрывал и туфлей, ничего на теле нет. Матросы, работая подле этой группы, то и дело острят насчет кринолинов и всей громоздкости нашего женского наряда, видимо склоняясь в пользу патриархального костюма черкешенок; но желчный господин из служащих на пароходе, опять проходя мимо, ворчит снова насчет их патриархальной вони и неряшества...

Наконец, после двухчасового шума, паровые трубы замолкли; задребезжали якорные цепи; глухо стал работать винт: плавно, слегка покачиваясь, мы сходили с керченского рейда. На небе было серо; дул порывистый ветер; все больше и больше вечерело: по всему видно было, что нам готовился беспокойный ночной переход...

Винт работал исправно, несмотря на сильное волнение моря, пароход шел по 11 узлов в час. Но темень, изредка освещаемая молнией, не позволяла видеть берегов, подле которых мы плыли. Всю ночь качало, только уж на рассвете почувствовалось легче: мы входили в Судтукский залив и скоро бросили якорь перед Константиновским укреплением.

Одна ночь перехода, а перемена местности разительная. После бурных, выясненных летним солнцем окрестностей Керчи, пред нами открылась свежая зеленая рамка леси-

стых берегов залива; мглистое степное небо заменилось чистою лазурью горного воздуха; полное затишье после бурных порывов моря; порожняя голубая бухта вместо зеленовато-грязного шумного керченского рейда. От укрепления подплыло к нам не больше двух баркасов; стояли на якорях всего две военные шхуны, да к одной из них прицеплена была турецкая кочерма – недавний приз крейсерства. На берегу – никакой людности.

Среди зелени лесов и свежего луга белеет Константиновское укрепление, чистенькое, новенькое; глядят из-за тонких стен его крыши и трубы казарменных построек, да красуется церковь с новым блестящим куполом. Подле этого маленького укрепления, занятого двумя ротами Крымского пехотного полка, уже начинается беспорядочно разбрасываться еще меньший форштадт, с избушками под соломенные крыши, с стогами хлеба и сена. Отсюда, по зеленым холмам, протерты дороги на окрестные возвышенности и в ущелья, из которых одно охраняется каменной башней; более широкая дорога спускается к самому берегу моря, к длинной казарменной постройке адмиралтейства, да к двум-трем купальням... Вот и все, что видится теперь на месте Новороссийска, который еще так недавно был центром всей жизни на Черноморской береговой линии. Быть может, на берегу среди травы и отыщется еще какой-либо след недавнего его существования; но с рейда – и не подумаешь, чтоб он тут когда-нибудь шумел и красовался; за исключением построек миниатюрной кре-

пости, все остальное смотрит как бы первобытную зеленую холмов, до которой не приступал еще человек ни с топором, ни с плугом.

Если человек есть самолюбивейшее из всех живых существ, то легко объяснить, почему мне грустнее было смотреть на зеленое бесследие Новороссийска, чем на груды камней, образовавшиеся не только из зданий славного Севастополя, но и бесславно разрушенной какой-нибудь Фанагории. Эти груды камней все еще продолжают говорить за жизнь людей, когда-то их громоздивших; а тут все бесследно стерто с лица земли, вполне «былью поросло», как говорят наши песни...

Да, еще в живых те люди, которые порою тяжело вздыхают при воспоминаниях о жизни на береговой линии, для которых и теперь Новороссийск все еще жив; а иному – заезжому сюда издалека – существование его может показаться сказкой. В живых еще и те люди, что при имени Новороссийска и всей береговой линии как-то чопорно отплевываются, точно их коснулось что-нибудь весьма неприличное. «Это Содом и Гоморра, – говорят они, – и участь их одинаковая!...». Да, точно, участь их очень схожа: как волны озера бесследно покрыли собою эти города древности, так богатая растительность Кавказа прикрывает собою развалины бывших укреплений береговой линии – и говора от их прошлой жизни, кроме слишком общей, неопределенной молвы, не слышится никакого. Но жаль будет, если эта молва не

перейдет в определенное слово; историческая характеристика жизни на Черноморской береговой линии может составить если не украшение, то все же весьма своеобразную картину в истории завоевания Кавказа, и такую характеристику нужно бы составить поскорее, пока воспоминания о жизни на береговой линии не поросли еще такую же былью, какую поросли ее развалины.

В настоящее время Константиновское укрепление играет уже совсем не ту роль, какую выполнял Новороссийск в составе береговой линии: теперь оно замыкает у моря нашу укрепленную линию, которая отграничила земли покорных нам натухайцев от земель немирных еще шапсугов, а до линии собственно береговой, еще не возобновляемой, оно не имеет непосредственного отношения. Вот от той башни, что виднеется справа от укрепления, по довольно торной дороге, можно теперь без особых опасностей прокатиться в экипаже среди живописнейшей природы до Суровской переправы на Кубани, причем на пути будут встречаться такие же сторожевые башни и два укрепления – Крымское и Адогумское. Этим путем обезопасен для нас один из богатейших уголков Западного Кавказа, и при нынешнем мирном настроении его жителей – натухайцев, он мог бы уже сделаться предметом изыскания для ученых, равно и для развлечения туристов, которые ищут впечатлений местности, еще не опошлившейся от всякого рода наблюдательных взглядов. Но ни о тех, ни о других пока здесь ничего еще не слышно,

и, по всей вероятности, для тех и для других равно необходим комфорт при наблюдениях, на который здесь плохо надеяться.

Стоянка наша пред Константиновским укреплением затянулась приемкой на пароход значительного груза: отъезжал на родину грузинский князь и забирал с собою множество пожитков, окружавших его на месте покидаемого им служебного поста. Отъезжавший князь был к тому же генерал. Понятно, что все меры угодливости были пущены в ход, чтобы только скорее и удобнее поместить на пароходе княжеское, да к тому же еще и генеральское имущество; а его-то, благодаря особенной плодородности некоторых наших служебных мест, скопилось немного. До тех пор свободная еще палуба «В.К. Константина» становилась все теснее и теснее: появились тут кареты, коляски, тарантасы; в трюм то и дело опускались тяжеловесные сундуки, тюки, ящики; всякого вида коробки, коробочки, ящички, узелки, бочонки размещались внутри экипажей и под экипажами: кадки с цветами, горшки с маслом, кувшины с молоком, фляжки и бутылки с разными напитками – также заняли собою много закоулков палубы, в явный ущерб помещения для пассажиров четвертого класса. Наконец явилась особа генерала с его многочисленным семейством: жена, дети, компаньонка, гувернантка, компаньон, разнообразная прислуга из солдат, нянек, грузин и армян – все они наполнили пароход до такой степени, что стало на нем для всех тесно. Но еще не все: оставалось встачить

на палубу семь лошадей, для которых нужны и корм и стойла; носовая часть палубы была очищена и под этих пассажиров, а затем последовало и самое встаскивание. Тут поднялась страшная возня: суетился капитан с своими помощниками, бегали матросы, визжали блоки, теснились пассажиры-зрители – и вот, каждая лошадь, поодиночке, сперва безобразно повиснув на воздухе, приподнималась на палубу и, почувствовав под собою опору, начинала неистово храпеть и бить копытами. Такая забавная возня с пассажирами этого рода могла бы ограничиться только доставлением нам любопытного комического зрелища, если б не вздумалось ей перейти в печальную драму: молодой матрос, больше других работавший около веревок, приподнимавших лошадь, как-то замешкался отдернуть руку свою от блока и остался без пальцев...

– Какая жалость! – заговорили на пароходе. – Такой ловкий малый – и принужден пальцы свои выбросить за борт!

– Заметьте, – дополняли другие, – всегда вот таким образом достается пострадать лучшему! Лентяй – в стороне, а тут как нарочно подвернулся самый бойкий матрос...

– Ведь это один из севастопольских героев, – заметил кто-то, – его и портрет был в художественном листке.

– Как так?

– Да он во время осады, бывши еще мальчиком, на батареях прислуживал, снаряды носил... И ведь ни разу не ранили тогда, а тут – кто бы мог и ожидать?

– Экая жалость! – твердили многие в один голос.

Молодой матрос по фамилии Новиков действительно был из числа севастопольских героев. Во время осады, вместе с другими матросскими детьми, он помогал взрослым перетаскивать боевые снаряды на батареи, отличался особенной бойкостью и расторопностью, так что обращал на себя общее внимание. Ни одна шальная неприятельская пуля не задела тогда молодца, а тут угодили веревки.

Сперва он точно и не почувствовал своей потери, только проворно сорвал висевшие на кожице суставы пальцев и отбросил их за борт в воду; но потом, когда стали делать ему примочки и перевязку, когда объявили, что нужно ему остаться для излечения в госпитале Константиновского управления, одолела его робость и проняли слезы. Дрожал он, бледный, и все приговаривал, что в госпиталь ему не хочется, что лучше бы остаться на пароходе...

Лошади еще не угомонились в новых своих стойлах, стучали и фыркали, когда пароход стал сниматься с якоря. Ясное утреннее небо начинало заволакиваться облаками, залив уже рябил, а по выходе нашем в открытое море стало и покачивать. Зеленые гористые берега Кавказа, по мере удаления от них парохода, все больше закутывались в облака и ступшеывались под серый цвет неба; скоро полил дождь, и еще сильнее закачало. Под эту качку немногие из нас уселись в кают-компаниях за завтрак; над головами нашими, ударяя в стекла опущенного люка, шумели дождевые капли, да вся-

кий раз, как чересчур накреняло паролод набок, слышались учащенные удары лошадиных копыт о палубу.

– А генерал ведь по-генеральски наградило пострадавшего матроса, – с улыбкой проговорил один из завтракавших и тем прервал общее молчание, – кажется, сто рублей дал.

– Хоть бы копейку! Хоть бы ласковым словом наградило! – ответил на это тут же завтракавший суперкарг – и опять все замолчали.

И томительно скучно, под усиливавшуюся с часу на час качку, прошел этот дождливый день, не дав нам ни разу разглядеть что-нибудь на берегах Кавказа, который завесило серою, непроницаемою для глаз пеленою...

Утром мы подошли к Сухум-Кале, повернули на его открытый с моря рейд и остановились в виду очаровательной холмистой и лесистой местности, освещенной первыми косяками солнца. Здешний рейд местами так глубок, что якорь паролода, загремевши всею своею тяжестью, повис, не достигнув дна; нужно было медленно подтягиваться к мертвому якорю. Тем временем от песчаного берега Сухума и от деревянной его пристани стали подплывать к нам ялики; гребли на них по одному и по два турка, все с платками на головах и наперегонки друг перед другом причаливали к трапу.

«Смотрите, смотрите – баба гребет!» – не раз слышалось на паролоде. Но баба оказывалась все тем же турком, который, точно, подчас удивительно как смахивает на бабу.

На рейде было так тихо, что море струилось только от дви-



жения яликов и весел, вода, необыкновенно чистая, лазурного цвета, по краям рейда отражала в себе зелень холмистых берегов. В глуби рейда, у подножия холмов и в их раселинах, на зеленой луговине разбросаны постройки Сухума, выходя на берег длинными, большею частью казарменно-образными домиками; налево – серые развалины когда-то турецкой крепостцы, за которою также луговина, переходящая в песчаную косу, направо лесистые холмы, почти отвесно обрамливающие весь восточный берег рейда; над ними – скалистые темные горы, из-за которых блестят снеговые вершины еще более далеких гор.

– Когда ни зайдешь в Сухум, даже в генваре, всегда в нем цветут розы, – так рекомендовали мне это благодатное местечко Абхазии; но тут же прибавляли, – только лихорадки проклятые! На каждом шагу как будто лихорадкой пахнет...

Я поспешил съехать на абхазский берег и посмотреть поближе на это местечко роз и лихорадок. И в самом деле, роз много, даже плетни из роз; с другой же стороны и воздух тяжел, особенно после дождя, при знойных лучах ясного тихого утра; эти затхлые испарения, точно, пахнут лихорадкой.

Широкой прямой улицей или, правильнее, бульваром пошел я от пристани к зеленому холму, который по своему виду носит название *трапеции*; он заграждает вход в город со стороны горных ущелий. Если на каждом шагу пахло лихорадкой, то в то же время нельзя было не любоваться здешнею роскошною растительностью: некрасивые домики стоят по

бокам бульвара; но их украшает густая темная зелень каштана и ореха; пирамидальный рослый тополь скрашивал их черепичные или крытые дранью крыши; нечистые или побитые окна закрывались великолепными кустами светло-зеленой плакучей ивы и веерообразною акацией, убранной цветками наподобие пушистых розовых кисточек. Поближе к *трапеции* все больше зелени; тут и Сухумский ботанический сад. Растительность его роскошна, но, видно, мало за нею ухода. Правда, дорожки его расчищены, но деревьям дана полная воля глушить друг друга, так что это правильнее назвать самородной маленькой рощей, чем искусственно спланированным ботаническим садом. Тутовые деревья, инжир или винная ягода, миндальные деревья, каштан, бигнония – все это, перемешавшись, дает густую тень для аллей, все это свою роскошную листвою прикрыло множество кустарников и плодовых низкорослых дерев: розы и китайская мальва глушат гранату, черешню; апельсиновые и лимонные кусты перемешались с персиками и абрикосами, виноград вьется около лавра, акация глушит все остальное. После ночного дождя все это повисло над землей отяжелевшими влажными ветками, сгустилось освеженною листвою и наполняло воздух удущьем ароматных испарений.

Из сада пошел я на *трапецию*, куда вела изрытая дождем дорога. Неуклюжие, грязные буйволы спускали по ней возы и арбы, нагруженные камнем; медленно переступали с ноги на ногу ослы, навьюченные вязанками дров, и абхазцы по-

крикивали на них необыкновенно зычными гортанными звуками. Абхазцы ничем особенно не отличаются ни в одежде, ни в наружности от всех горцев, известных под общим именем адыге; только вместо папахи на головах у них чаще встречаешь башлык, повязанный в виде чалмы, чаще видишь на них рыжие бороды, да отвычка от войны сделала их мешковатее, тяжелее истого горца.

На самом возвышении трапедии, в тени дерев, лежало и сидело несколько солдат в госпитальных халатах; молчаливо глядели они на Сухум, раскинувшийся внизу по плоской лужайке, – на длинный узкий рейд, на котором чернели всего два турецких судна, наш пароход да военная шхуна. Лица солдат были желтые, исхудалые, печальные; это были выходцы из госпиталя, который длинными одноэтажными домами, в гуще зелени, поместился на верхушке холма, как на более здоровом месте. Подле госпиталя тянулись такие же длинные казармы одного из линейных батальонов, занимающих Сухум, а затем уж холм спускался заросшим оврагом к лесистым предгорьям и ущельям Главного Кавказского хребта.

Разговор с солдатами никак у меня не вязался: меня интересовал их печальный быт в Сухуме, а их – коммерческий пароход, привез ли он для них амуницию?

– В Сухум грузили много тюков, – сказал я, – может быть, есть вам и амуниция...

– А где грузили? – спросил один из лежавших на животе солдат.

– Грузили в Феодосии, грузили в Керчи... Овчин много также грузили в Сухум.

– То, слышь, на полушубки нам, – улыбаясь, заметил молодой солдатик, толкая локтем своего соседа.

– С какой стати на полушубки! – разочаровывал его сосед. – Кабы полушубки, то прислали бы их готовыми, а то овчинами зачем прислать?

– И муки много привезли в Сухум, – продолжал я утешать их.

– Что мука! Кабы амуницию!.. – заметили все они со вздохами.

– А хорошо вам здесь! – сказал я невольно, залюбовавшись с этой возвышенной местности на блестящий серебром рейд и его холмистые зеленые берега.

– Какое хорошо! – послышалось в ответ. – Сказано уж – проклятое место! Еще теперь дожди перепадают, а там как суша наступит – глотка воды не добудешь нигде. Такое уж место: кругом дожди, а здесь хоть бы капелька!

– И лихорадок тогда больше?

– Да уж известное дело! От них и теперь не оберешься, а тогда так и валит. В грудях-то сопрет, этак давит на сердце, ну и корчи пойдут, и живот раздует...

«Проклятое место, – думал я, сходя с возвышения; а живописно-то как! И будто нет избавления для него от проклятий? Осушат болота, расчистят окрестные леса, замирится вполне край – и Сухум может сделаться только местом роз,

хотя и с шипами, но без лихорадок».

Между тем по улицам Сухума разносились звуки похоронного марша, чуть умолкала музыка, начинали турчать горнисты и трещали барабаны. С обычными военными почестями хоронили убитого накануне офицера, убитого в деле с псховцами, соседями Абхазии, в землю которых перед этим за несколько дней выступил наш отряд из Сухума; в 16 верстах отсюда, еще в земле абхазской, уже завязалась перестрелка – и вот хоронили первую из ее жертв. В печальной процессии мне указали на жену убитого, обезумевшую при вести о неожиданной утрате мужа; не понимая происходившей перед нею действительности, она в безумных своих грезах все твердила одно, что муж ее запил и растратил какие-то деньги... Ее окружали несколько женщин – и это были, быть может, на перечет все так называемые благородные обитательницы Сухума, вообще бедного прекрасным полом. «Женщин у нас нет, решительно нет!» – восклицают наши военные, кочующие по разным уголкам Черноморского Кавказского побережья. И точно, тут их почти не видишь: или фуражка, или папаха, или башлык и нет навстречу шляпки. А случится, вывезут ее сюда откуда-нибудь издалека, то сколько глаз на нее пялится, и каких жадных! Но мои глаза, как заезжего, больше всего увлеклись хвостом похоронной процессии, состоявшим из отряда гурийской милиции. Что за живописный народ! В красиво шитых куртках и шароварах, перетянутые широкими цветными поясами, из-за

которых торчат щегольски отделанные кинжалы и пистолеты, они не шли, а прыгали, как бы хвастая всею легкостью и грацией своих движений; на плечах их небрежно мотались длинные, убранные серебром винтовки; на головах, поверх роскошных черных локонов, навязаны были башлыки, что гораздо красивее неуклюжих турецких чалм; лица их все молодые, выразительные, с бойкими черными глазами...

В Сухуме становилось час от часу жарче; на солнце жгло, в тени парило; я поспешил съехать на пароход, но и здесь, при затишье на рейде было не лучше: в каютах то же, что в бане, на палубе жгло от солнца и от печей и даже под тентом было душно. В такие часы, на юге, для заезжего северянина ничто не мило – устанешь, расслабнешь и поминутно обливаешься потом.

– Штука забавная оказывается! – шепнул мне один из пассажиров. – С нами едет двумужница.

– Какая же это?

– А вот пойдемте посмотрим. Она ехала с нами от Керчи, при ней и муж был, а тут из Сухума съехал к ней другой.

– Не может быть.

– Не знаю, так говорят... Вероятно, тут скрывается какая-нибудь коммерческая штука.

Между пассажирами четвертого класса, присевши на палубы, завтракали два офицера и миловидная дама; перед ними стояли бутылки с вином и тарелки с закуской.

– Вот это она, – шепнул мне тот же пассажир, – а офицеры,

говорят, мужа ее...

Мужья были на вид пожилые, весьма невзрачные, что называется, из бурбонов; но дама и миленькая и одета очень прилично; попивая вино из стакана, она развязно и кокетливо любезничала с тем и с другим. Бог ведает, была ли она двумужница, но все же можно вспомнить, что здешний край – полоса, близкая к азиатскому востоку, где отношения между обоими полами отличаются особенным, не европейским складом. На азиатском востоке муж припасает себе несколько жен; на восточном берегу Черного моря (так было, по крайней мере, прежде) жена припасала себе несколько мужей, или вернее несколько мужчин выписывали себе одну женщину: как там, так и здесь, в силу обычая или необходимости, подобные дела улаживаются очень мирно. Посторонние, не причастные к условиям здешней жизни, глядя на такое семейное безобразие, могут без сомнения отплевываться и приговаривать: это Содом и Гоморра!.. Но, отдавая всякому должное, такие чопорные, хоть и весьма благонравные господа не должны забывать, что человек все-таки состоит из плоти и крови, что он хорошо помнит, например, о целомудрии Иосифа потому именно, что на свете весьма трудно быть Иосифом, и тому подобное. Условия жизни могут быть всегда странные, слишком искусственные и чрез то неблагоприятные для чистоты семейной жизни. Но оставляя на этот раз всякие рассуждения о целомудрии, скажу только, что не след упускать из вида среду жизни. Вот и молоденькая чер-

кешенка, что едет с нами из Керчи в парчовом шишаке да в одной сорочке, – ведь вошла, как говорят, в амбицию, когда, из снисхождения к ней, хотели взять с нее плату за проезд на пароходе вполнину, как с малолетней, – и в то же время едет она в Константинополь на продажу, в сладких мечтах очутиться в каком-нибудь серале. Самолюбия стало настолько, чтобы не позволить внести себя, хотя и с барышом, в разряд малолетних, а что продавать ее будут как товар и всю жизнь свою не перестает она быть товаром – на это уж самолюбия у ней не хватает: среда ее такая!..

После несносной вчерашней качки стоянка перед Сухум-Кале вполне вознаградила нас спокойным днем и чудным вечером. В полдень скучились было облака, прогремел гром, но горы притянули их к себе, и дождь, минуя нас, косями полосами обливал нагорные леса, а радуги венчали их. Затем засвежел береговой ветерок, и к вечеру небо очистилось. Контуры дальних гор окутывались в туманы, ближние склоны потемнели и заблестали огнями из окон сухумских строений. Из-за гор глянул месяц и побелил песчаный берег и набережные постройки, рейд рябил, и по нем разносились то звуки шарманки, игравшей на берегу, то склянки шхун, стоявших вблизи парохода. И долго, стоя на корме, любовался я на окрестности рейда, на эту волшебную игру его теней и света, на этот яркий месяц, что пускал лучи свои в воду, на эту длинную полосу от парохода до горизонта, что струилась бесчисленными золотыми жилками... В полночь паро-



ход снялся с якоря.

На рассвете услышал я из каюты, что мы снова останавливаемся: перед нами был Редут-Кале. Однако стояли мы от него не близко, к тому же и утренний туман заволакивал окрестности мглою, из-за которой ничего не было видно, только неопределенно рисовался низменный берег, и горы отступали от него далеко на восток и север. Баркасы, подошедшие к нам от Редут-Кале, поспешно принимали и сдавали груз, и через полчаса мы опять поплыли в виду все тех же мгlistых низменных берегов Мингрелии. Тихое море понемногу стало изменять свой цвет, мы вступали в устья Риона и скоро должны были стать перед Поти.

На обратном пути, через неделю, мне также не довелось взглянуть на Редут-Кале. В этот обратный рейс сильное волнение моря не позволило даже нам остановиться на редутском рейде. Мгlistый низменный берег Мингрелии остался в моих воспоминаниях как однообразно-серая картина, без всяких просветов; от нее веяло на меня сыростью и скукой. Все расспросы мои о Редут-Кале у пассажиров вызывали те неопределенные ответы, что, дескать, и говорить тут нечего. При устьях речки Хопи устроилось это местечко, как важный стратегический пункт Мингрелии; отсюда по каналу можно входить в Рион, и Закавказье может, при нужде, избрать и этот путь для сообщений с Черным морем. Как все стратегические пункты Кавказского побережья, оно славится вредным климатом и также постоянно изолирован-

ностию от всего остального мира; с суши не ведут к нему никакие торные пути, а с моря заходят только крейсера; живут здесь по службе.

Сухум-Кале и на этот раз встретил нас как нельзя приветливее. После дневной качки мы зашли на живописный его рейд уж при полной тишине вечера. Звуки бубна и песен неслись к нам навстречу; на берегу заметна была людность; белели в разных местах его походные палатки. То был лагерь войск, возвратившихся из похода на псховцев.

Когда пароход наш наполнился пассажирами из Сухума, пошли всякие толки об окончившейся экспедиции. Из них можно было составить довольно определенное понятие, куда, зачем и как двигался наш отряд. Кто взглянет на карту, тот легко приметит, что Абхазия отделяется от северных склонов Кавказа, занятых отчасти абадзехами, только нешироким перевалом через главный горный хребет, так что если провести прямую дорогу из Сухум-Кале (в Абхазии) до Каменного брода (в землю абадзехов), то окажется всего не более 80 верст, причем и перевал через снежную линию не представит особенных затруднений. При настоящей системе Кавказской войны, когда главным образом обращено внимание на проложение дорог внутри земель, занятых горцами, и на обеспечение этих дорог укреплениями, очень важно проложить из Абхазии надежный путь в закубанскую сторону, соединить кратчайшим обходом Закавказье с северными склонами гор еще в одном пункте, на котором не поставила

трудных преград и прихотливая, не поддающаяся расчетам человека природа Кавказа. Но на этом предполагаемом пути, по выходе из Абхазии, необходимо столкнуться с дико-воинственными, хотя и малочисленными горскими племенами, по имени псху и джигет, которым легко могут подать помощь еще более воинственные убыхи. Много раз предпринимались походы в земли этих племен; причем не имелось в виду никакой определенной цели, кроме так называемого наказания непокорных; цель же настоящего и предстоящих походов стала определеннее – разработать дорогу и обезопасить ее надежным укреплением, которое, находясь в сердце до сих пор неприступных земель, сделало бы их удобопроходимыми и держало бы их жителей в приличном страхе. Настоящий, собравшийся в Сухум-Кале отряд предназначался для осуществления подобной цели; но она, однако, может быть достигнута не вдруг, не во всякое время года и не без предварительных рекогносцировок. Природа, как и везде на Кавказе, является надежнейшею союзницею псховцев: летнее время делает чащу здешних лесов вполне непроходимую для сплошного отряда, а горцы, поодиночке, в каждом дереве и в каждом кусте имеют верную защиту, из-за которой безнаказанно выглядывают и выбирают для себя любую жертву в нашем отряде. Таким образом и настоящий отряд в 15 или около этого верстах от Сухума встретил несколько не разработанные лесные чащи, занятые уже псховцами; полившиеся дожди еще более затруднили движения по зарос-

шим лесными трущобами горам, да и местные жители, абхазы, повели себя в отношении к нашему отряду не без вероломства: стало необходимо, во избежание больших потерь, отложить поход до более благоприятного времени года. Из отдельных эпизодов этой экспедиции особенно распространялись о подвигах гурийских милиционеров – тех картинных молодцев, которыми я любовался на похоронной процессии еще в первый свой заезд в Сухум-Кале. Бывши в Гурии, я слышал, с каким энтузиазмом они готовились к выступлению в действующий отряд; точно дети, слышавшие, что им предстоит особенно веселый праздник, они прыгали, плясали и пели в ожидании похода. Три сотни их взято было против псховцев – и, рассказывали, нужно было употреблять усилия, чтобы сдерживать порою их неуместный пыл при встрече с неприятелем. От этого и значительное число раненых в экспедиции выпало на долю гурийцев. Между прочим они прибегали тут к своей, особой тактике: заметивши дым неприятельского выстрела, обыкновенно вылетающий из-за куста, они тотчас же бросались на такой куст, прежде чем выстреливший псховец мог снова зарядить свою винтовку, – и овладевали неприятелем; но и псховцы со своей стороны скоро противопоставили им хитрость: за куст стали прятаться по несколько псховцев, и в то время, как один из них своим выстрелом принимал гурийцев, другие берегли свои заряды на бросавшихся и, таким образом, еще вернее прицеливались в их груди.

По отступлении нашего отряда в Сухум-Кале на помощь псховцам явились убыхи и, не нашедши для себя дела, требовали наступательных действий. Слухи об этом несколько смутили сухумцев, и про всякий случай *трапезия* на ночь была занята батальоном пехоты и артиллерией. В таком тревожном настроении и оставили мы Сухум-Кале.

Самая живописная местность Кавказского побережья тянется от Сухум-Кале до Гагр. Хотя на этом пространстве и есть места, удобные для пристаней, но пароходы не заходят ни в одну из них. Бомборы и Пицунди не заняты еще нашими войсками и лежат в развалинах. Ясный день дал нам возможность хотя издали посмотреть на этот дикий гористый край. Горы подходят тут к морю высокими отвесными массами; на них местами кустится зелень, но больше виднеются обнаженные от всякой растительности ребра скал, отмываемых пенящимися морскими валами. Снежная линия прихотливыми извилинами непрерывно венчает эти скалистые массы, то сливаясь с синевой неба, то белея на ней рядом как бы сахарных голов, то искрясь блестками отраженных лучей солнца. Местами открывались виды на темные ущелья, причем у подошвы отвесных скал заметно было песчаную отмель или зеленую лужайку – признак устья какой-нибудь горной речки, сбегаящей к морю по ущелью. При выходе из такого же ущелья стоит и укрепление Гагры. Каменные стены его с амбразурами, расположенные так, что ими, как воротами, замыкается ущелье, препятствуют горцам иметь в этом пункте

сообщение с морем, но с другой стороны откосы громадных скал, высящихся над крепостью, всегда доступных горцам, замыкают в свою очередь и выход гарнизону из крепостных ворот: пули горцев находят тут для себя верную цель.

Гагры в настоящее время единственное укрепление, которое может дать понятие о целой цепи фортов, составлявших до Восточной войны черноморскую береговую линию; по первому легко составить себе заключение и о последних. Представьте себе небольшую лужайку у подножия скалистых гор, расступившихся к открытому морю темным ущельем; на этой лужайке, по которой сбегает горная речка, устроен форт, вмещающий в себе батальон или меньше гарнизона; для сообщений его с морем нет судов, для сообщений с сушею нет дорог; единственный выход для него мог бы существовать по ложу ущелья, но оно занято горцами и превосходно сложилось для них как оборона от неприятеля. Заезжался часовой, выглянул ли кто-нибудь из-за крепостных ворот – и вот уже он цель для стрельбы горца; даже больше: ночью, горит ли в комнате свеча и тень ваша заступила свет к ее окну, – уж наверное горец, взобравшись на соседнюю к форту скалу, целится в вашу фигуру. Горная речонка то пересохнет, так что пить нечего, то, переполнившись от дождей, грозит разрушением ненадежным постройкам форта; вместе с тем, заливая лужайку обильным стоком горных вод, она кладет тут зародыши лихорадок, от которых изнывает гарнизон, чуть только начнутся солнечные припеки или на-

станут удушливые, парящие дни. И вот вместо славы, вместо открытого боя с неприятелем какой-нибудь кавказский герой должен, точно в тюрьме, выдерживать медленную томительную борьбу с лихорадкой, от которой после двух-трех параксизмов живот раздуло и образовалась водянка. В такой борьбе тут сложили свои кости немало героев... говорили пассажиры парохода, между которыми было много военных, когда-то испытавших весь комфорт жизни в этих погибших фортах. На защиту их, пожалуй, годился бы какой-нибудь монашеский орден: тут и уединение, и борьба; соблазнов мира ждать неоткуда: скрывается он – как в сказках говорится – за горами, за долами да за широким морем; подаст вести о нем лишь крейсер, который раз или два в месяц завезет в укрепление пачку писем и казенных пакетов. Но наш солдат, а еще больше офицер – не члены такого монашеского ордена; от жизни у нас обыкновенно требуют того, чтоб она «везла», а не «везет» – заливают ее кутежами да дебоширствуют. Однако для всякого рода дебошей не достает главного повода: по фортам трудно обзаводиться женщинами; да и для кутежей нужна мера, иначе выйдет прежде времени весь запас выписанных на год напитков и до нового срока выписки нигде уж их не раздобудешь. Большая благодарность судьбе, если она нарушит такую жизнь распоряжением начальства перевести, мол, такого-то из форта Лазарева в форт Головинский, а из Головинского в укрепление Тенгинское и так далее. Все же разнообразие...

Такова в общих чертах была жизнь по кавказской береговой линии, в тех фортах и укреплениях, которых развалины виднелись нам с парохода, к северу от Гагр. Но Восточная война показала всю несостоятельность прежде бывшей тут военной системы. Без поддержки со стороны нашего флота существование подобных фортов немислимо; но и при флоте на долю их выпадала бы слишком узкая цель – воспрепятствование военной контрабанде, недопущение горцев к общению с морем. Не говоря уже о том, что такая цель может быть выполняема помощью одних крейсеров, надо еще вспомнить, что едва ли можно удержать горцев в покорности, лишив их только способов получать из-за границы порох и оружие. Надо лишить их не способов, а охоты получать это для борьбы с нами, а к этому надежнее ведет настоящая система Кавказской войны, по которой уж не по краям, а внутри их земель возникают укрепления, и горцы не извне, а среди себя видят силу нашего оружия, расчищающего для своих распоряжков проходы по всем направлениям горных закоулков, а не замыкающего эти гнезда, в которых легко могут плодиться всякие беспорядки.

К северу от Гагр горы не представляют таких дико-грандиозных масс, подходящих к самому морю, как берега Абхазии; отсюда они значительно понижаются, не венчаясь уж снежными верхами, но зато покрываясь более сплошной зеленью. Ущелья показываются все чаще, и стенки их украшены теми непролазными порослями всякого рода колючих ку-



старников, которые преграждали все прежние движения наших отрядов в землю убыхов. Помимо искусственных завалов, защищаемых горцами, солдат наш хорошо знаком с так называемым держи-деревом (*Rhamnus Paliurus*), которое еще больше завала не пускает его вперед; за целый день перехода, бывало, продерется он всего на две, на три версты, а тут на него посыплются пули горцев. Убыхи, эти гордые – как об них отзываются – холодно-храбрые дикари-воины, недаром величаются неприступностью своих убежищ: кажется, всего только раз, и то при помощи эскадры, обстреливавшей берега, отряд наш сделал переход по небольшому участку их земли с большими, однако, для себя потерями.

К местам бывших фортов теперь пристают, часто безнаказанно, турецкие кочермы, отчасти с военной контрабандой, отчасти с невинными товарами, находящими сбыт у горцев. Так, особенно у Сочи, с парохода приметен был целый ряд этого незатейливого, но чрезвычайно легкого турецкого каботажа; одна за другой, белая своими маленькими парусами, пробирались они у скалистых берегов. В случае появления нашего крейсера кочермы удобно втаскиваются на берег, а при попутном ветре они работают по десяти узлов, так что угнаться за ним под силу не всякому крейсеру.

Наш пароход держал свой рейс на значительном расстоянии от берега. Держаться к нему ближе – небезопасно. Горцы иногда являются пиратами, а уж наверное не упустят случая, если он удобен, послать на наше коммерческое судно

одну-другую пулю. Так и было с одним из пароходов Общества; другое же, из парусных коммерческих судов, они оставили уже своими галерами, полезли было на бордаж, выбрав для этого место под самым носом судна; но тогда на судне решились прибегнуть к единственному средству спасения – обрезали якоря, и они, рухнув всюю своею тяжестью на легкие галеры, потопили их вместе с пиратами.

За весь день плавания, кроме движения нескольких кочерм, мы не заметили никакой жизни у этих берегов Кавказа; ни у подошвы скал, ни на горах не видно присутствия человека, не заметно нигде его жилища, ни следов его труда. Горные склоны не показали на себе ни одной пашни, ни одного пастбища, по которому бы бродил скот; вся жизнь обитателей этого побережья таится в ущельях, вполне скрытая от наблюдения посторонних, не горских глаз. Но на следующий день, когда мы успели за ночь обойти земли шапсугов, а утром, остановившись ненадолго перед Константиновским укреплением, пошли на линию с землями натухайцев, тот же гористый берег представлял уже менее дикие склоны: всюду пестрели пашни, забираясь даже на вершины гор, по зеленым коврам их обозначались иногда движения полевых работ, рисовались маленькие фигуры людей и животных. Здесь уже мирная страна и мирная жизнь, которой не для чего прятаться в трущобы. Берега становились все ниже, покатости их к морю все продольнее, а к Анапе показались уж и песчаные отмели. К сожалению, общество перестало засылать па-

роходы в эту крепость, которая после восточной войны сузила свои стены в размеры небольшого форта и стала уж не городом, а только лишь административным пунктом для земли натухайцев. Таким образом, не поворачивая к анапским развалинам, пароход наш стал на румб к Керченскому проливу, берега Кавказа стали исчезать у нас из виду, а вместе с ними исчезал и весь интерес плавания...

Большая часть пассажиров, ехавших на пароходе из Сухум-Кале и Поти, высадились еще в Константиновском укреплении; с удалением их затихли всякие стратегические толки, замолкли воинственные возгласы, в силу которых следовало бы тотчас же, без всяких оговорок, подписать решительный карачун и шапсугам, и убыхам, и всему живому в ущельях Кавказа; не было заметно и сомнительных покачиваний головою, с охлаждающим: «Не верьте». Все стратеги, все ораторы-истребители и все скептики высадились на месте новых для себя опытов войны с горцами, и там их, без сомнения, ждут новые данные для стратегических соображений, для возгласов и сомнений. Остальные же пассажиры, все слушатели, без шума, но и не без скуки приближались к керченскому рейду в молчаливых соображениях, придется ли ночевать в Керчи или же карантинный и таможенный дозоры задержат их на пароходе еще на одну ночь.

Но вот пароход, пройдя мыс Ак-бурн, остановился против керченской брандвахты. Скоро отделился от нее катер и, мотаясь на волнах пролива, стал подплывать к нам. «Ка-

рантинная стража», – заметили на пароходе. Катер причалил к трапу, показался господин с пестрым лицом, на котором чума как бы оставила свои отпечатки. С заложенными назад руками, боясь чрез прикосновение их к чему-нибудь заразиться чумою, он потребовал взглянуть на документы судна. Без сомнения, документы оказались вполне исправными, и тотчас руки господина появились из-за своей засады, протянувшись не только для пожатия других знакомых рук, но и к некоторым сосудам пароходного буфета.

Через час времени подошел к нам пароходик «Крикун», забрал всех пассажиров и направился к таможенной пристани. Наступали уже сумерки. Но к немалому нашему удовольствию, таможенная стража почтила особенным своим вниманием только «заграничных», прибывших из Батума и Трапезонта; остальных же, приехавших с берегов Кавказа, пощупала слегка, вероятно, из сострадания к этим хилым заморенным существам.

– Смотри, какие все желтые и худые! – заметила она в лице одного из своих сострадательных членов.

– Да там уж все такие, от человека до скотины! – ответил на это другой таможенный господин.

Но, говоря по совести, между прибывшими с Кавказа были люди с более свежими лицами, чем керченские таможенные досмотрщики...

Казалось, жизнь на пароходе начинала уж надоедать мне и теснотой, и качкой, и видами все на одно и то же море;

хотелось более твердого, спокойного и просторного пристанища. Но вот и городская жизнь. Дребезжат экипажи, валит пыль, крик извозчиков, говор прохожих... Вот и гостиница. Потряхивая волосами, бегают половые, раздаются звуки шарманки, слышится цоканье чайных ложечек о стаканы и блюдца... вонь в коридоре, вонь и неряшество в номере... Ноги мои что-то шатаются, точно продолжается еще качка; в ушах гул, точно еще слышу я шум паровых труб. И все же, хоть бы опять на пароход, опять бы на этот свежий морской воздух, от этого смрада гостиниц!..

*1861 года, август*